

*На углу «Дерибаса», или
Повесть о школе, которой нет*

I

— Ну-ка, руки из карманов вынули!

1982 год. Поздний ноябрьский вечер. Пустая троллейбусная остановка. Дождя нет, но всё кругом кажется мокрым и стылым. Я и мой школьный товарищ Евгений стоим навытяжку перед рядом милиции. Они смотрят на нас настороженно, но без особой враждебности. Два обычных не очень молодых казаха-мента, которым довелось нести дежурство в этот промозглый вечер. Мокро и холодно, да и набегались они за день, видать, достаточно. Народу на улице практически нет. Я и Женька попались им после распития двух бутылок яблочного вина, рубль двадцать за бутылку, неподалеку от нашей школы № 41, что в Ленинском районе города Алма-Аты, столицы Казахской ССР.

— Ну и чё вы тут делаете? — устало спрашивает один из ментов, с лычками сержанта. Если бы нас задержали утром или днём, он бы наверняка добавил «молодые люди», и вопрос бы звучал более «цивильно»:

— Что вы здесь делаете, молодые люди?

Но, поскольку дело происходит поздним вечером, часов так в пол-одиннадцатого, и сержант устал, он эту «цивильную» часть вопроса опускает.

Когда милицейский патруль задерживает тебя с бутылкой вина в руках, а тебе нет ещё и семнадцати, вариантов развития событий может быть два. Первый, если менты злые и ты попался им, что говорится, под горячую руку, они быстренько тебя забирают в отделение, звонят родителям, пишут рапорт в школу, комитет комсомола и т. п. Могут и дать слегка, если начнёшь сопротивляться или борзо им отвечать. Второй вариант благополучный: если менты попадались более-менее человечные, тебя после

недолгого пугания просто отпускали под торжественное обещание «никогда в жизни»...

...Вечер стоял какой-то тусклый, и слегка моросил надоедливый дождик. По телеку и радио утром объявили, что умер Брежнев. Народу было на улице мало. То ли рабочий и служивый люд уже разъехался по домам, то ли все сидели дома и пили за упокой усопшего генсека. Решили «отметить» и мы, так как делать было нечего. Не то что мы пили каждый вечер в середине последнего для нас учебного года, но когда деньги водились, то почему бы и нет?

В ближайший сквер у Театра юного зрителя мы, по такой погоде, решили не ходить, так как все скамейки заведомо мокрые, а других мест для распития мы не знали. По причине всенародного траура ближайший магазин оказался уже закрыт. Хотя было каких-то часов восемь. На удачу ещё работал промтоварный киоск возле нашей 41-й алма-атинской средней школы. Увы, ассортимент там был небогат, но две бутылки яблочного вина, как мы его называли, «сивухи», мы всё же приобрели. На закуску хватило на пачку сигарет «Медео» и на банку классических килек в томатном соусе.

Местом пиршества единогласно была избрана пустующая троллейбусная остановка на углу проспекта Коммунистического и улицы Ташкентской. Стен у неё не было, но хлипкий козырёк всё же как-то защищал от дождя.

Правда, и просматривалось это чудное местечко за километр. Мы с Хохлом даже сквозь пелену мелкого дождя могли видеть сумрачные силуэты родной школы, мебельного магазина и прилегающих к ним жилых панельных домов. Однако и нас было видно за версту на пустой троллейбусной остановке, освещённой неровными огнями уличных фонарей. Посудив, что хороший хозяин в такую погоду даже собаку не выпустит, мы-таки приступили к своей скудной трапезе.

— А куда это все пацаны подевались? — задал я вопрос после внушительного глотка прямо из бутылки.

Стаканов, как всегда, не было. Во-первых, автоматы с газировкой на зиму закрывают. Во-вторых, алкаши стаканы уже всё равно давно растащили.

— А хрен их знает, — философски отвечал мой товарищ, делая не менее глубокий присос к сивушной бутылке. — Я после праздников и сам толком никого не видел, да ещё родоки все мозги про...али со своей учёбой.

— Мать говорила, — продолжал Хохол с набитым кильками ртом, — у неё на работе собрание было по поводу Брежнева. Говорят, что Андропов теперь будет или Суслов.

— А мне как-то один хрен, — закончил я фразу и первую бутылку одним вдохом. — Давай, открывай вторую.

— Сосед мой, — знаешь? — ну, Юрка-наркоман, — продолжал политизировать Хохол, срывая хлипкую крышку, — говорит, что Брежнев-то был дядька добрый. А вот новый ещё неизвестно как зажмёт.

Тут он сделал ещё один глоток и протянул бутылку мне. В голове и животе у меня уже было тепло и уютно. Хотелось если не говорить, то хотя бы просто слушать и поддакивать.

— Помню, в третьем классе нас всем классом вывели на угол Ташкентской его встречать, — вдруг вспомнил я. — Ждали мы его часа два, а проехал он за пять...

Но не успел я взять бутылку и закончить фразу, как откуда-то из-за непонятого угла перед нами вдруг из ничего, из пустого, сырого воздуха, материализовались два мента.

В серых, набухших от проливного дождя шинелях и таких нелепых в такую погоду фуражках, они просто стояли перед нами и смотрели на нас. А мы на них...

...Хохол, опомнившись наконец, прижал початую бутылку к груди, пытаясь спрятать её за лацкан расстёгнутой куртки. С таким же успехом он мог попытаться прикинуться скамейкой или гипсовой фигурой. Типа скульптура «Старшеклассник, прячущий бухло на груди» — поздний соцреализм образца конца 1982 года.

— Ну-ка, встали прямо и руки из карманов, быстро! — скомандовал нам старший патруля с лычками сержанта на погонах.

К тому времени я успел уже разглядеть стоящих перед нами стражей закона. Два не очень молодых мента-казаха, настороженно взирающих на нас из-под козырьков своих промокших фуражек.

Впрочем, особой враждебности я в их глазах не заметил. Скорее глубокую усталость.

— Ну и какого вы тут делаете, в такой час? — задал сержант риторический вопрос.

И так было ясно, кто мы, и где мы, и зачем.

— Выпиваете? — продолжал свой экспресс-допрос сержант. — А где живёте? Учитесь?

— Ну чё молчите-то? — похоже, сержанту надоело стоять на одном месте.

Усталые дядьки в погонах, которым лишь бы смену дотянуть да домой или в общагу, к жене и детям. Надо либо этих в отделение, в тепло, либо...

Приготовившегося было уныло затащить: «Дяденька, простите, отпустите!» — меня вдруг повело не туда:

— Товарищ сержант, — начал я, стараясь не сильно заплетаться языком, — вы нас простите. Но мы выпиваем сегодня за упокой Леонида Ильича Брежнева. Он умер вчера, и мы его поминаем. От чистого сердца...

Ни с того ни с сего вдруг вспомнилось: «От чистого сердца, простыми словами, давайте, друзья, потолкуем о маме...» Мы этот стишок заучивали наизусть когда-то в классе шестом.

Не глядя на Женьку Хохла, я всё же почувствовал, как тот замер и даже оцепенел. Такого оправдания он явно не ожидал.

Растерялись и менты. Переглянулись, как бы спрашивая друг друга: «Что делать-то?» И действительно, задерживать ли нас, даже не отрицающих факт выпивки, но поминающих уход советского лидера, просто и по-народному скорбящих?..

Тогда же как полагалось: умер генсек — народ должен три дня траур отмечать, официально разрешённый траур причём. Умер член Политбюро — на это отводился один день. Опять же объявляли по радио и телевизору, то есть всё по закону вроде бы.

А вдруг начальство неправильно их поймёт, — партком там, профком какой-нибудь, — наверное, гадали менты. Признает факт задержания политически неадекватным?..

Я и сам не представлял, что выдам такое, и как-то скукожился в испуганном ожидании.

— Ну хорошо, — наконец опомнился сержант. — Мы вас сегодня отпускаем. Раз уж повод такой... Только давайте сразу по домам, и чтобы мы вас больше здесь не видели. Быстро!

— Да мы не... — проблеял я, хватая Хохла за рукав куртки. — Спасибо, товарищ сержант!

— Идите, идите, — раздражённо закончил сержант, отворачиваясь.

Его напарник ещё поглазел нам вслед недолго, пока тот уже отходил от остановки.

Остановились мы уже у самого дома Хохла. Его вдруг разобрал нервный смех.

— Ну ты даёшь, Котяра, — сипло промолвил Хохол, мелко дрожа. То ли от холода, то ли от страха, то ли ещё от чего.

У меня же, напротив, как паралич нервной системы случился, и всё происходящее виделось теперь как будто в кино, со стороны.

— Да я и сам как обосрался, — признался я. И предложил: — Пойдём, пацанам расскажем?

— Да ты чё? — замахал рукой Хохол. — Опять на проспект? Нет уж, я сразу домой.

Вечер уходил, уступая дорогу ночи. Заканчивался ноябрь, уступая место холодам и снегу. Заканчивалась целая эпоха в жизни страны, о которой мы, тогдашние шестнадцатилетние пацаны, имели слабое представление, ибо наш последний год в советской школе ещё продолжался.

Впрочем, самой школе № 41 оставалось жить чуть меньше десяти лет, перед тем как исчезнуть навсегда с карты города.

II

Средняя школа № 41 была построена в городе Алма-Ате в середине тридцатых годов прошлого века. Двухэтажное розовое здание, с двойными лепными колоннами, широкими лестницами и высокими оконными проёмами, возвели на углу тогдашних проспекта Сталина и улицы Ташкентской. С самого её основания школу называли именем пролетарского поэта и трибуна Владимира Маяковского и никогда не переименовывали.

Как, например, другую алма-атинскую среднюю школу №56, тоже рождения середины тридцатых годов прошлого, двадцатого века. Та начала свое существование сначала именованной в честь революционера товарища Мирзояна, потом, в 50-е, — именем «нашего всего» Пушкина, и наконец, с конца шестидесятых и по сей день носит имя казахского академика Сатпаева.

В те времена у каждой школы были общественные кураторы, или шефы, как они тогда назывались. Чем круче шефы, тем лучше считалась школа. Так вот, качество шефов зависело от того, кто в школе учился и заканчивал. В той же 56-й школе учились в большинстве не простые дети, а мажоры, то есть дети академиков и высокопоставленных партийных и советских чиновников.

Жили они неподалёку, в одном из самых престижных в городе районов — Тулебайке, по имени одноимённой улицы, где в одном из домов когда-то жил сам Кунаев — многолетний руководитель Казахстана. В своё время эту школу закончили дочь предкабмина, потом первого партийного секретаря, а в девяностых — первого президента Казахстана Назарбаева, да было ещё множество других именитых выпускников.

Ещё одну элитарную школу № 25 заканчивали когда-то давным-давно (в 1964 году) лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский и первый министр иностранных дел независимого послесоветского Казахстана Токаев. Шефы у 25-й были ещё покруче — сам Комитет государственной (позже национальной) безопасности Республики Казахстан! Старожилы-алмаатинцы на полном серьёзе утверждали, что между 25-й школой и зданием КГБ, что стояло напротив, существует некий подземный ход, соединяющий под землёй оба здания.

Даже уроки физкультуры здесь проводились не как у всех нормальных школьников: в обшарпанном спортивном зале или на пыльном футбольном поле, а на республиканском стадионе «Динамо», что тоже прямо через дорогу от школы.

Выпускником другой алма-атинской школы № 15 (с усиленным английским уклоном), кажется, был известный бизнесмен, миллионер и в девяностые годы оппозиционный властям политик

Булат Абилов по кличке Бутя. Он и сейчас вроде бы среди её шефов, помогает ей морально и материально.

Куратором той же 56-й школы была Академия наук Казахской ССР. Видимо, и получила имя академика Сатпаева школа та элитная в расчете на то, что выпускникам её теперь одна дорога — в академики. Если следовать этой логике, все выпускники нашей 41-й — имени В.В. Маяковского — должны были стать поэтами. Чтобы, развернувшись перед массами восхищёнными, зажать в кулаке затухшую папироску и продекламировать голосом зычным и слегка простуженным:

*А вы ноктюрн сыграть смогли бы
На флейте водосточных труб?*

Или:

*Нет на свете прекрасней одёжи,
Чем бронза мускулов и свежесть кожи...*

Соединили старый и новый корпуса большим стеклянным переходом, в центре которого был масляной краской нарисован огромный портрет Маяковского. Великий пролетарский «агитатор, крикун и глашатай» строго взирал на обитателей школы в течение нескольких лет, пока портрет не замазали синей краской, оставив только голую стену с проступающими через неё пронзительными глазами поэта.

III

Улица Ташкентская, на которой стояла наша школа, существовала в Алма-Ате давно. Когда-то называлась она Ташкентский тракт, а с середины 1980-х годов это была уже и не Ташкентская, а проспект 50-летия Октября. В 1990-х проспект опять переименовали — в проспект имени Райымбека, казахского исторического деятеля. Однако в широких массах улицу и по сей день называют Ташкентской.

Так вот, и тогда и сейчас она разделяла «квадраты» города не только географически, но и по их социально-имущественному положению. А именно: квартиры выше Ташкентской всегда ценились при обмене и продаже куда более дорого, нежели в нижней части города. В мои 70–80-е годы сказалось подобное различие

и на контингенте школы, объединившей под одной крышей так называемых «интеллигентов» и «пролетариев».

Получилось так, что научные и культурные работники, академики и артисты, отдававшие своих детей в нашу школу, в основном жили в уютных, элитных кирпичных домах старой постройки — вроде зданий, где размещались на первом этаже «Кулинария» или «Дом мебели». Госслужащие попроще, вроде моей семьи, жили в типовых панельных многоэтажках там же, на верхней стороне Ташкентской, в квадрате улиц Маметовой, Панфилова и Фурманова.

С нижней стороны Ташкентской, минуя железнодорожный вокзал Алма-Ата-2, в школу нашу шли жители менее комфортных «шанхаев»: частных застроек и старых зданий ещё со времен Сталина и Хрущева. Заселены они были в большинстве своём пролетариатом: водителями, работниками мясокомбината и автобаз, железнодорожниками и разного рода мастерами. Такого разделения классов позднего социализма не было в элитарных 56-й, 39-й, 15-й или 25-й школах, расположенных в центральных, привилегированных районах. Районы, а по ним и школы, там даже назывались «центровыми», или «центрами».

Классовое разделение внутри школы, может, ещё встречалось лишь в соседней с нашей 52-й, что расположилась на углу той же Ташкентской и улицы Пушкина. 52-я школа граничила с городским автовокзалом, соединяющим Алма-Ату с пригородами, с «татарско-чеченской» Малой Станицей и с Центральным городским рынком, или Зелёным Базаром, как его ещё называли. И этим определялось всё.

IV

Район нашей 41-й школы носил гордое название Дерibas.

К началу 80-х разделение на «верхних» и «нижних» сполна отразило и общую криминализацию сознания. У нас в школе, да и по всей Алма-Ате, очень популяризовался культ зоны, широко пропагандируемый отсидевшими и освободившимися блатными. Пошла вверх популяризация тюремной лирики, понятий и жаргона, а также быстро развивавшаяся наркомания среди

подростков. Все эти факторы привели к неслыханной ранее в наших краях активности и жестокости подростков и их формирований, так называемых «районов».

Таковы, повторюсь, были реалии начальных восьмидесятых не только в 41-й школе, но и по всему городу. На смену пацанским играм в асыки и ляngu пришли новые — в «банды» и «районы». Даже значение слова «пацан» изменилось, превратившись в титул, который надо было заслужить.

В те годы расцвела буйным цветом и молодёжная наркомания. Если в застойные семидесятые желающих «раскумариться» ещё устраивали пачка чая на стакан кипятка (чефир), таблетки от кашля (кодеин с димедролом) или даже просто клей с ацетоном, то в восьмидесятые годы наркотиком номер один была признана анаша. Популярности она достигла благодаря не только одурманивающему воздействию, но и лёгкости приобретения. Возле школы в те времена стоял ряд гаражей, где часто можно было видеть сидящих на корточках мальчишек, пускающих по кругу косяки или сигареты.

Накуривались в квартирах, в парках на скамейках, в подъездах, на чердаках и крышах. Для этого дела табак из доступных нам папирос «Беломорканал» перемешивался с анашой и вручную забивался в косяк. Существовали даже особые правила — вроде того что нельзя стряхивать пепел, когда накуривались. Косяк пускался по кругу, пока его содержимое само не сваливалось на землю и не дотлевало, медленно угасая.

За гаражами вообще проходили многие внеклассные мероприятия: драки, пьянки, накуривания, шмон денег у «быков» и «чертей» и другие «бакланы». Поэтому ментовские патрули, столь привычные в конце семидесятых и начале восьмидесятых, появлялись там не реже, чем возле сквера Амангельды (с его конным памятником в центре) или в парке возле нового ТЮЗа напротив, через проспект Коммунистический.

Словечки, подобные «быкам» и «бакланам», были местным жаргоном, на котором говорили все пацаны района. Советский рубль мы почему-то называли «рваным», а мелкие монеты — «филками». Недосыгаемая для нас, пацанов, денежная единица

номиналом в десять рублей, в народе зовущаяся червонцем, у нас звалась «чириком». Конфеты мы называли «понтишками», а всю остальную еду — «хавчиком».

Употребляемые наркотики в виде анаши и гашиша звались «планом» или «дурью». Многие жаргонизмы были позаимствованы из обширного советского тюремно-блатного словаря тридцатых — пятидесятих годов. Но, так как мы все-таки жили в столице Казахской ССР, то нередко употребляли и чисто казахские слова. Например, «тимек» (сигареты) или «арак» (водка).

Когда учился в десятом классе, я знал и таких ребят, кто начинал с анаши и гашиша, а потом дорос до вкалывания внутривенного «герыча», подсев при этом на «ширево» капитально, что называется, до смерти. Наркоши те бродили по району небольшими группками по два-три человека, выпрашивая (а иногда и вымогая) мелочь у малолеток, чтобы «похавать» или «доширнуться». Друг друга и нас, всех остальных, вместо приветствия они встречали вопросом: «Есть че?»

Хотя многие пацаны и сами были не прочь разделить косяк-другой, хронических наркош всё же было среди нас немного. Практического толка от таких пацанов на любом районе было мало, так как в «бакланах» и разборках они не участвовали по причине физической слабости и полнейшей наркозависимости. Периодически они куда-то исчезали — садились в тюрьму, ложились в больницу и иногда даже умирали от передозировки. Но на месте убиавших вскоре появлялись новые наркоши.

Воровали и отбирали одежду и обувь, как правило, не у «районных» пацанов, а у «чертей» и «быков», тогдашней разновидности лохов. Эти несчастные к районным бандам не принадлежали и потому защиты не имели. Такое деление было принято не только в 41-й школе, но и в других центральных алма-атинских школах, включая элитные. Этот процесс отбирания без насилия назывался «накатывание» (как вариант — «скатывание»). «Накатать» на практике означало, что тебя мирно и даже вежливо просили «дать поносить» твои джинсы, рубашку, кроссовки какому-нибудь школьному «пацану». Даже срок возврата обговаривался, как и повод — мол, на дискотеку иду с «крысой» (девчонкой),

а надеть нечего. Вещь, разумеется, не возвращалась, но причины обосновывались, порой самые несуразные (менты забрали, порвал, кровью испачкал в драке, родители выкинули и т. п.). Постепенно история «одолженного» затухала. А искомые джинсы или туфли через месяц-другой появлялись на каком-нибудь другом пацане. Иногда их продавали на «грев» — для пацанов, сидящих на зоне, иногда обменивали на наркоте. Но чаще всего вещи просто занасивались до дыр поочередно всеми членами «банды». Потерпевшего за эту его щедрость какое-то время не притесняли, подбадривая, что он-де «настоящий пацан». Хотя в своём кругу его называли по-обидному «чёртом» или «быком», так как он «не предъявлял» за вещь.

Если же подобная история происходила между «пацанами», то вещь либо возвращалась к владельцу, либо все заканчивалось дракой и вовлечением «стариков». Своеобразный дерибасовский суд чести решал, что «пацанов накатывать западло», и теперь уже сам «накатавший» мог быть опущен в «быки». Этими особыми словами-арго нельзя было бросаться просто так, обзывая пацана даже в шутку. Такое оскорбление грозило физической расправой и опять же «опущением». Удивительно то, что запрещалось также говорить неуважительно о родителях, отец для каждого пацана был богом, а мать — святой. «Кодекс чести пацана», в общем, был во многом позаимствован из блатного мира, но соблюдался он беспрекословно и в мире школьном.

Ещё одно пацанско-воровское правило было непреклонным: любой самый никчемный и слабый пацан всегда оценивался на ступень выше, чем самая лучшая, умная и красивая девчонка. Если только речь не шла о чьей-нибудь сестре, то есть члене семьи. Считалось, что «базарить», «предъявлять» и заступаться за честь и достоинство девчонки, как бы дорога она ни была, «западло». Тем же, кто «впрягался за крысу», грозило суровое физическое и моральное наказание вплоть до потери пацанского статуса. Да, девчонок на районах называли «крысами», «тёлками» или же просто «мясом», а ещё почему-то «биксами» (металлические медицинские ящики для кипячения шприцев).

Продолжение следует